

О ПАТРИОТИЗМЪ ПРАВЕДНОМЪ И ГРѢХОВНОМЪ

Прекрасная вещь — любовь къ отечеству, но есть еще нѣчто болѣе прекрасное, — это любовь къ истинѣ. Любовь къ отечеству рождаетъ героевъ, любовь къ истинѣ создаетъ мудрецовъ, благодѣтелей человѣчества... Не черезъ родину, а черезъ истину ведетъ путь на небо.

(Чаадаевъ. Апологія сумасшедшаго).

Безъ православія наша народность — дрянь...

(А. И. Кошелевъ, изъ письма къ И. С. Аксакову).

I

Разгадать будущее Россіи — для насъ это означаетъ прежде всего понять и осознать еще не вполне раскрытый смыслъ совершившейся и совершающейся русской революціи. Рѣчь идетъ здѣсь даже не объ оцѣнкѣ, не объ объективно-историческомъ анализѣ и объясненіи, а о самомъ первичномъ, живомъ и непосредственномъ воспріятіи этого историческаго факта. Въ томъ, какъ мы

переживаемъ и ощущаемъ современность, уже заложены и наши прогнозы, и наши конкретныя пожеланія: они какъ бы предопредѣляются нашей интуиціей. И вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней, въ этомъ нашемъ непосредственномъ отвѣтѣ на текущія впечатлѣнія, выявляется сразу и вполне все наше «міровоззрѣніе», вся совокупность тѣхъ понятій и категорій, въ которыя мы преломляемъ жизнь; они, — эти понятія, — образуютъ ту апперцептивную массу, которой опредѣляется степень нашей культурно-жизнейской чуткости. Рѣшеніе частнаго русскаго вопроса связывается такимъ образомъ съ длиннымъ рядомъ общихъ, принципиальныхъ проблемъ. И не слѣдуетъ избѣгать этого, укрываться отъ этого, упрощая себѣ задачу. Говоря о русской революціи, разсуждая о томъ, чего должно ждать и на что надѣяться, что надо «дѣлать» въ настоящее время, чтобы приблизилось время свершенія нашихъ чаяній и упованій, — мы невольно и неизбежно вступаемъ въ область пересмотра и переоцѣнки многихъ привычныхъ и обиходныхъ цѣнностей. И только здѣсь возможно обрѣсти прочную и устойчивую основу для діагнозовъ и предсказаній; только этимъ путемъ возможно установить подлинную «размѣрность» событій русской современности, подлинный порядокъ ихъ абсолютной величины, независимо отъ оцѣночнаго знака, приставляемаго нами. И этимъ самымъ мы дѣлаемъ нашу оцѣнку углубленной и отчетливой. «Чистаго опыта» вообще не существуетъ: «данное» всегда перемѣшано съ предпосылками мысли; но только строго учитывая эти

послѣднія, мы сможемъ дать точный отвѣтъ на вопросъ: что такое русская революція.

II

Въ начальный моментъ своего развитія русская революція была воспринята какъ правительственный переворотъ, какъ смѣна власти, какъ смѣна людей у власти. Одни называли это государственной катастрофой, другіе привѣтствовали зарю новаго «строя», но и тѣ и другіе не видѣли въ происшедшемъ ничего другого кромѣ перемѣны правительства: на мѣсто старыхъ, непригодныхъ къ дѣлу людей стали новые, вышедшіе изъ «широкихъ круговъ общественности» и опиравшіеся — по ихъ собственному ощущенію и признанію — на «симпатіи народныхъ массъ»... И казалось, что «революція» въ сущности тѣмъ уже и закончилась; осталось немного — надо обновить и подправить кое-гдѣ поослабшій административный аппаратъ, водворить «революціонный порядокъ» и очистить дѣйствующее законодательство отъ неправомѣрныхъ примѣсей бюрократической новеллистики. Съ этой точки зрѣнія вполнѣ поспѣшательно все, что выходило за предѣлы «порядка управленія» или, такъ сказать, «полиціи благоустройства», намѣренно и сознательно отлагалось — до времени болѣе благоприятнаго, когда станетъ возможнымъ всестороннее и неторопливое «парламентарное» обсужденіе — въ порядкѣ законодательномъ — исподволь разработанныхъ рефор-

маціонныхъ проектовъ. Катастрофическій темпъ не ожидающей сроковъ жизни совершенно не ощущался. Психологически за этимъ стояло ничто иное, какъ своеобразная разновидность стариннаго просвѣтительнаго оптимизма: вѣра въ непогрѣшимость логики и здраваго смысла, вѣра во всемогущество законодателя, руководящагося «принципами разума». И эта вѣра обладала магическимъ очарованіемъ; она породила иллюзію исполнимости задачи явно утопической: среди величайшаго напряженія національныхъ силъ, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ болѣзненнаго пребыванія въ состояніи внѣшней войны, когда всѣ жизненные противорѣчія были обострены до крайнихъ предѣловъ, — представлялось допустимымъ и возможнымъ управлять въ сущности безъ программы, не осуществляя никакихъ положительныхъ, содержательныхъ мѣръ. Казалось, что «правовой порядокъ» уже «учрежденъ» и остается лишь его «развивать» и поддерживать.

Этотъ оптический обманъ, внушенный привычными предпосылками «общественнаго» міровоззрѣнія, былъ настолько могущественъ, что разоблачавшія его предостереженія, въ видѣ нескончаемаго ряда частныхъ и общихъ кризисовъ власти, проходили совершенно безплодно. Выше лихорадочнаго томленія о «твердой власти» общественное сознаніе не поднималось, и въ него какъ-то даже и въ видѣ догадки не проникала мысль о томъ, что «твердость» есть вовсе не первичный и самобытный атрибутъ власти и создается не одною формальною энергіей воли, а есть нѣчто произ-

водное, вытекающее из реальной программы властвующего, из соответствия заданий власти подлинным потребностям текущей жизни. Из зако- политического восприятия происшедших событий истекло психологическое увлечение публично-правовыми проблемами. Грозные симптомы нарастающей разрухи представлялись проявлениями недоразвитого «революционного сознания», недостаточной гражданской дисциплины, проявлениями невѣжественного «бунта». И вся энергия уходила на «просвещение» и на агитацию; со стороны кажется теперь даже загадочным, как много упований возлагалось тогда на «коалиционную систему», на пересмотр и согласование партийных программ, сколько надежд влагалось во взаимные партийные уступки... Психологически все это истекло из понимания революции, как борьбы за власть, за право пользования административным аппаратом; а позади таилась все та же вѣра в возможность напором воли провести свою теоретически придуманную программу и в благотельные послѣдствия такого проведения. Здѣсь было много презрѣнія къ дѣйствительности и очень много увѣренности въ мощи человеческого разума и индивидуального расчета надъ нею. Иными словами, здѣсь проявлялось рационалистическое убѣждение въ томъ, что люди «дѣлаютъ исторію» и что имъ по силамъ такая задача, что жизнь историческая сама по себѣ протекаетъ, такъ сказать, аморфно, не имѣя своей стихійной упругости, и что поэтому возможно рассчитывать на успѣхъ, вторгаясь въ нее со своими отвлеченными планами дѣйствія.

Октябрьская побѣда большевиковъ была фактическимъ обнаруженіемъ внутренней ошибочности такого взгляда: «вся власть» перешла къ «совѣтамъ» и вдругъ стала «твердою» въ рукахъ народныхъ комиссаровъ; ближайшая причина лежала здѣсь именно въ томъ, что «большевики» немедленно сошли съ зако-политической точки зрѣнія и поторопились подвести подъ себя неотложно-необходимый фундаментъ реформъ «по существу». Какъ бы ни относиться къ программѣ большевиковъ въ смыслѣ ея соответствія реальнымъ потребностямъ исторической жизни, необходимо признать вѣрность руководившаго ими инстинкта: они поняли, что нужно ломать и созидать новое. Пусть въ этомъ не было собственно «пониманія», пусть здѣсь сказывалась слѣпота въ однихъ вопросахъ, но зато свобода отъ «предразсудковъ» въ другихъ; пусть ломали они совѣтъ не то, что слѣдовало, пусть они разбирали самыя стойкія части треснувшего аданія; важно сознать, что аданіе уже трещитъ, колеблется въ основахъ, и нельзя ограничиваться однимъ декоративнымъ ремонтомъ. Важно сознаніе, что революція была неизбежна, что революціи не могло не быть, и при томъ не только въ смыслѣ смѣны власти, а именно въ размѣрахъ глубокаго культурно-бытового потрясенія и разгрома. И за этимъ стоитъ совершенно иное историческое мироощущеніе, въ которомъ какъ то учтена собственная ритмика жизненной стихіи. Я нисколько не склоненъ преувеличивать глубину и проникновенность большевистскаго мироощущенія. Мертворожденность совѣтской программы

и скудость питающего ее общаго жизненнаго идеала раскрываются самую жизнью: эта программа отмирает и разлагается. Но по отношенію къ прошлому надо признать, что сила большевиковъ заключалась въ наличности у нихъ своей программы, которою тогда они не поступались съ маниакальнымъ упрямствомъ: у нихъ было, дѣйствительно, «свое лицо» и этому лицу — хотя бы не искренно — они умѣли придавать заражающе-дѣйственное, соблазнительное для «массъ» выраженіе; пусть это была гримасная маска «соціальной иллюзіи», пусть это лицо, на самомъ дѣлѣ, ужасная разбойничья рожа. — тѣмъ не менѣе побѣда большевиковъ въ концѣ 1917 года была обусловлена именно тѣмъ, что они перешли отъ формальной революціонности къ реальной, и этимъ попали въ ритмъ историческаго процесса.

Со стороны, съ точки зрѣнія публичнаго права октябрьская революція была только взрывомъ буртарскихъ, анархическихъ тенденцій и силъ, сосредоточенныхъ и руководимыхъ заблудшей и преступной волей отдѣльныхъ лицъ. Охарактеризованное выше пониманіе исторической динамики сказалось въ этой оцѣнкѣ тѣмъ, что большевистскій переворотъ былъ всецѣло отнесенъ за счетъ и отвѣтственность его руководителей, которые будто бы его «сдѣлали», осуществили напряженіемъ личной воли. Я говорю не о моральной отвѣтственности за содѣянное: отвѣчая на вопросъ о фактической, такъ сказать, о реально-причинной отвѣтственности обычно утверждаютъ: переворота могло и не быть, большевики сдѣлали его... Въ

основѣ «непріятія» революціи и вытекающихъ отсюда практическихъ программъ лежитъ именно упрощенное историческое пониманіе. «Не приѣмлю революцію» это значить прежде всего — отвергаю ее какъ фактъ, не считаюсь съ нею, какъ съ фактомъ. Здѣсь возможны градаціи: «непріятіе» можетъ начинаться съ любого момента развитія революціи — съ самаго ея начала, съ приказа № 1, или съ того момента, когда «буржуазія сдала позиціи буржуазной революціи», или съ возстанія Корнилова, или только съ октябрьскаго переворота; выборомъ этого момента опредѣляются современныя партійныя расхожденія. Но все они вырастаютъ на общей почвѣ: представляется, будто люди сознательно и планомерно вели и направляли событія и вдругъ ворвалась чья-то буйная и преступная воля, руководимая мыслью злохудожною, и отклонила потокъ жизни отъ надежнаго русла; достаточно устранить эту волю, достаточно противопоставить ей свою энергію, вдохновенную благоразуміемъ, и стихіи послушно войдутъ въ берега. Такъ между реально-фактическимъ, живымъ содержаніемъ исторической дѣйствительности и сознательными умыслами отдѣльныхъ индивидовъ, «вождей и руководителей», ставится ничѣмъ не оговариваемый знакъ равенства. Жизнь отдается въ полную власть личному усмотрѣнію и произволу. Совершенно упускается изъ виду, что сознательные планы человѣческіе суть всегда только одинъ изъ факторовъ того творческаго синтеза, управляемаго закономъ гетерогоніи цѣлей, который созидаетъ историческую жизнь: люди дѣйствуютъ

не въ пустотѣ, а нѣкоторой средѣ, обладающей упругостью и треніемъ, и средѣ не пассивной, а имѣющей свой ритмъ развитія и свои законы; и ихъ дѣйствія суммируются не по типу мозаичскаго подлѣпоставленія, и даже не по типу параллелограмма силъ, а скорѣе по типу химическаго синтеза... Каждый человѣческій поступокъ вплетается въ сложную систему стихійныхъ тяготѣній, дѣйствій и противодѣйствій, и въ итогѣ могутъ возникать «новыя качества», возникаютъ новыя явленія, совершенно непредусмотрѣнныя и невыводимыя изъ предварительнаго намѣренія, часто совершенно несхожія и далекія отъ того, что ставилось въ видѣ цѣли отдѣльными дѣйствующими лицами. Если мы стоимъ на почвѣ объективнаго анализа историческаго процесса, мы не въ правѣ изолировать «личность» отъ «среды», не въ правѣ говорить объ однѣхъ «идеяхъ»: изъ такого подхода родится совершенно иллюзорная и мечтательная практическая идеологія. Въ основѣ ходячаго «непріятія» революціи лежитъ въ сущности «анти-историческій» постулатъ дѣйствовать такъ, какъ будто бы съ опредѣленнаго момента жизнь и исторія остановились и въ нѣкоторомъ хронологическомъ интервалѣ «ничего не случалось», такъ что грядущую дѣятельность надо примыкать къ какому-то, произвольно выбираемому, моменту прошлаго, а не опираться ея на то конкретное сочетаніе силъ и возможностей, которое реально сложится ко времени настоящаго «открытія дѣйствій». Именно такое содержаніе вкладывается въ лозунгъ борьбы во что бы

то ни стало — съ большевизмомъ и суммарнаго безоглядочнаго отрицанія «завоеваній революціи», — при этомъ снова забывается, что «завоеванія революціи» это не только то, что писалось на плакатахъ и знаменахъ, не только то, что выкрикивалось — къ соблазну «братія сей меньшей» на митингахъ. Не объ этихъ «завоеваніяхъ» идетъ рѣчь въ предѣлахъ историческаго анализа, — а о тѣхъ совершенно осязаемыхъ осуществленіяхъ историческаго развитія, въ которѣхъ волѣ человѣка принадлежитъ не исключительное мѣсто. Для чуткаго взора въ наши дни совершенно несомнѣнно, что событія послѣднихъ лѣтъ пролегли безвозвратною гранью между прошлымъ и грядущимъ, что новое будетъ отличаться отъ былого, стараго, въ чемъ-то существенномъ и основномъ, — и это новое и есть порожденіе, достиженіе или «завоеваніе» революціи. Это есть фактъ, — въ немъ объективно суммируются стихійнымъ токомъ жизни — всѣ усилія и дѣйствія отдѣльныхъ лицъ въ нѣкоторый реальный итогъ. Понять и ощутить это, осознать историческую необходимость революціи — не какъ программу, а какъ сбывшагося факта, — разгадать ту надъиндивидуальную ритмику жизни, которая привела къ ней, — вотъ что значить «пріять» революцію. Прагматически это означаетъ требованіе — базировать свои дальнѣйшія пожеланія и попытки на измѣнившемся ликѣ земли. «Идти за революціей» вовсе не значить продолжать ея, т. е. усваивать и осуществлять какую-нибудь изъ революціонныхъ программъ; «идти за революціей» значить учитывать случившееся со всею тщательностью и

точностью, и его, какъ фактъ, принимать за опорную базу своей повседневной работы. Только при такомъ подходѣ къ жизни возможно творчество, дѣйствіе, созиданіе, — иначе получится только греза, безплотная и ни на что не надобная, хотя бы и очень привлекательная и заманчивая.

III

Попыткою не считаться съ жизнью, попыткою пойти напроломъ было «бѣлое» движеніе, и здѣсь именно коренился его неизбежный неуспѣхъ. Со всею силой здѣсь надлежитъ подчеркнуть, что рѣчь идетъ не о моральной сторонѣ дѣла: ни въ признаніи объективно-исторической необходимости революціоннаго разгрома, ни въ утвержденіи изначальной обреченности бѣлаго движенія не заключается никакой моральной оцѣнки. Раскрыть принудительный генезисъ революціи — не значить дать ей моральное оправданіе и обоснованіе; вскрыть внутреннюю противорѣчивость бѣлой идеологіи, это не значить осудить ее въ свѣтѣ нравственнаго чувства. Скажу открыто и прямо: бѣлое дѣло родилось изъ беззавѣтнаго и безкорыстнаго патріотическаго порыва, оно росло и питалось чувствами чистыми и святыми. Именно, святыми: бѣлая борьба не была ни политическою, ни классовою авантюрою, она не была гражданскою войной, — подъ бѣлыя знамена влекла не какая-нибудь программа, а чисто нравственное заданіе — положить конецъ преступному террору, надруга-

тельствамъ и разврату. Это былъ именно протестъ совѣсти. И въ этомъ смыслѣ знамена были, дѣйствительно, бѣлыя и подъ ними *dulce et decorum est mori*. «Бѣлыя» могилы во истину — могилы праведниковъ, героевъ, подвижниковъ; они «заслужили славу и вѣчный покой». Все это безспорно, но потому то до боли тревожно. Ибо, быть можетъ, въ непорочной бѣлизнѣ и моральной чистотѣ Добровольческаго дѣла и заключалась его слабость и непрочность, какъ «общественнаго дѣла», — какъ фактора той дѣйствительности, которая во злѣ лежитъ и объективный причинно-слѣдственный законъ которой вовсе не автономное законодательство нравственнаго чувства (или, во всякомъ случаѣ, имъ не исчерпывается). Въ отдѣльности каждый можетъ сражаться за «видѣніе, непостижное уму», но коллективное предпріятіе должно имѣть свой «будничныи» лозунгъ. Вѣдь лично оправданъ и святъ также и тотъ, кто, совершенно не умѣя плавать, въ порывѣ жертвеннаго милосердія и любви, «больше коеяже никтоже имать», — бросится спасать ближняго своего въ двѣнадцатибалльный штормъ. Но, если Богу не угодно будетъ совершить чудо, онъ только погибнетъ — за други своя. Бѣлое дѣло въ цѣломъ аналогично именно такому святому, но безнадежному порыву. Оно родилось на той-же психологической почвѣ, на которой строилась неудавшаяся работа Временнаго Правительства; оно родилось изъ того-же стремленія внести миръ и ладъ въ разъярившіяся историческія стихіи одною формальною энергіей воли, одною дисциплиною, однимъ темпераментомъ власти. Въ немъ была

та же нечуткость, незоркость къ глубинѣ и сложности тѣхъ жизненныхъ противорѣчій, которыя привели къ революціонному взрыву и питали его затѣмъ. И отсюда истекала та же невнимательность къ необходимости творчески преодолѣть эти противорѣчія и направлять свою работу не по линіи усмиренія и дисциплинарной сдержки, а по линіи культурно-бытового и дѣйственно духовнаго перерожденія и созиданія. Ошибка была не въ томъ, что бороться надо было не мечемъ, а словомъ; мечъ есть тоже благословенное орудіе земной борьбы. Но бороться надо за что-нибудь опредѣленное, за живой и конкретный образъ Новой Россіи, а не за отвлеченную идею Родины, ad hoc конкретизируемую въ какой-то переливчатый образъ, колеблющійся и шаткій. Изъ того, что опредѣленнаго знаменія, священной орифламы у «бѣлого» движенія не было, проистекала неизбѣжность того моральнаго разложенія и распада, о которыхъ съ жуткою жизненностью рассказалъ В. В. Шульгинъ въ своихъ замѣчательныхъ очеркахъ «1920 года». Здѣсь лежала причина слабости власти, которая совершенно независѣла отъ индивидуальности вождей и отъ ихъ стратегическихъ ошибокъ. Отсюда же постоянный уклонъ къ «старому», ибо для новаго не имѣлось ни одного творческаго замысла. — Я говорю все это не въ осужденіе; наши сердца могутъ быть съ «бѣлыми», съ арміей Деникина и Врангеля, мы съ полной убѣжденностью можемъ защищать ихъ отъ вражескихъ извѣтовъ, — и тѣмъ не менѣе, въ крушеніи бѣлаго дѣла, мы должны видѣть неизбѣжное слѣдствіе исходной

ошибки. И въ «историческихъ ошибкахъ» есть своя логика и неотразимость, — въ извѣстномъ смыслѣ вооруженная борьба съ большевиками была необходима; но слѣдуетъ признать, что не «бѣлое» дѣло есть подлинное и конечное русское дѣло. Та борьба кончилась, а та новая, которая должна еще начаться, должна для успѣшности своей протекать по новому руслу.

Яркимъ показателемъ внутренняго противорѣчія, раздирающаго идеологію «борьбы во что бы то ни стало» является т. н. «національ-большевизмъ». Онъ есть законное дѣтище того пониманія русской революціи, которое суживало ея предѣлы до рамокъ государственнаго переворота и сводило ея механику къ игрѣ личныхъ произволовъ. И въ неизбѣжности этого процесса рожденія государственническаго «пріятія» большевизма изъ голаго его отрицанія во имя только политическихъ мотивовъ, можно съ правомъ видѣть *reductio ad absurdum* самой постановки русской проблемы въ данную ограниченную плоскость, — борьба съ большевизмомъ объявляется ея идеологами во имя Великой Россіи, ея великодержавныхъ заданій, ея «старой мощи», военной и экономической; совѣтскій строй отвергается подъ угломъ зрѣнія его національнаго и народно-хозяйственнаго безсилія, отвергается за неспособность подъять и понести великодержавныя задачи Россіи. Но такая оцѣнка совѣтскаго строя опирается не столько на объективные факты, сколько на общіе тезисы, явственно теоретическаго происхожденія, — въ концѣ концовъ, на постулатъ невозможности организовать хозяй-

ственную дѣятельность внѣ личной заинтересованности рабочаго, предпринимателя и собственника. Какъ бы эта мысль ни была теоретически справедлива сама по себѣ, къ оцѣнкѣ конкретныхъ явленій она неприложима просто потому, что большевизмъ нельзя разсматривать исключительно какъ «соціалистическій экспериментъ»: этимъ его конкретное бытіе не исчерпывается. Внутренне убогая, выношенная въ партійномъ подпольѣ программа смогла обосновать нѣкоторое, — допустимъ, краткосрочное, — всероссійское соціальное дѣйствие, — смогла именно потому, что въ реальномъ соотношеніи жизненныхъ силъ для нея имѣлись какія-то предрасположенія и опоры. Фактъ остается фактомъ: темпераментъ власти у большевиковъ несомнѣнно имѣется, ихъ власть обладаетъ всѣми формальными признаками «твердой власти»... Въ предѣлахъ чистаго «этатизма» совѣтскій режимъ не поддается преодоленію по существу, — только во имя чего-то, что больше и выше и политики и государственности, можно разоблачить его слабость и окончательно его ниспровергнуть. Оставаясь въ предѣлахъ культа великодержавности, неправомѣрно апеллировать къ моральному чувству: ибо въ основѣ всякой власти лежитъ «принужденіе» и насиліе, и не существуетъ точныхъ критеріевъ для установленія предѣловъ государственно-допустимаго гнета и насилія; всякая «твердая» власть управляетъ въ сущности, «скорпіонами», и «недовольство населенія» не есть — съ державной точки зрѣнія — доводъ противъ пригодности власти, ибо населенію принадлежитъ, въ

такомъ аспектѣ, единственно лишь «обязанность повиновенія». Если угодно, система террора говорить не о безсиліи, а именно о твердости совѣтской власти, или по крайней мѣрѣ о серьезности ея желанія быть и стать «твердой». И только внѣ-политическія соображенія могутъ превозмочь эти факты; обосновать отверженіе большевизма можно только вступивши на путь моральнаго сужденія жизненныхъ явленій; т. е. уже не во имя публично-правовыхъ демонстрацій, не изъ-за несоотвѣтствія державнымъ заданіямъ, а по какимъ-то существенно инороднымъ мотивамъ. Съ государственной-же точки зрѣнія, взятой отрѣшенно въ качествѣ самодовлѣющаго мѣрила, оцѣнка большевизма, какъ факта, можетъ оказаться и положительной.

Если мы оставимъ въ сторонѣ всѣ неполитическіе моменты, ограничиваясь оцѣнкой большевизма, какъ правительственной системы, точка зрѣнія національ-большевиковъ съ прямолинейной послѣдовательностью вытечетъ изъ томленія по твердой власти. Что это не предположеніе и не произвольный и гадательный домыселъ, показываютъ тѣ заключенія, къ которымъ пришелъ — въ предѣлахъ этатизма — такой чуткій и тонкій наблюдатель жизни, къ большевизму отнюдь не предрасположенный, какъ Шульгинъ. Свои очерки «1920 года» онъ кончаетъ такимъ категорическимъ итогомъ: «и теперь очевидно стало, что (тотъ), кто сидитъ въ Кремлѣ, — безразлично, кто это, будетъ ли это Ульяновъ или Романовъ (простите это гнусное сравненіе) — принужденъ... дѣлать дѣло Іоанна Кали-

ты»... Независимо от своей идеологии, на взгляд Шульгина, на дѣлѣ большевики «1. возстанавливаютъ военное могущество Россіи; 2. возстанавливаютъ границы Россійской Державы до ея естественныхъ предѣловъ; 3. готовятъ пришествіе Самодержца Всероссійскаго»... И Шульгину кажется, что «все, что сейчасъ происходитъ, весь этотъ ужасъ, который сейчасъ нависъ надъ Россіей» — это только страшные, трудные, ужасно мучительные «роды» этого самодержца. Между этими прозрѣніями Шульгина и утвержденіемъ тѣхъ, кто открыто принялъ на себя имя «національ-большевиковъ», различіе только въ степени глубины мыслительнаго обоснованія и дерзновенности эмоціального пафоса. Шульгинъ идетъ тѣмъ же путемъ, который другихъ приводитъ къ культу «красныхъ генераловъ», — Брусилова прежде всего, — въ качествѣ мужественныхъ и вѣрныхъ служителей Великой Россіи». (Н. В. Устряловъ). «Первое и главное — собираніе и возстановленіе Россіи, какъ великаго и еди-наго государства; все остальное приложится» — эта формула Устрялова въ равной мѣрѣ характеризуетъ и «бѣлую» идеологию; да отсюда-то и пришла она, здѣсь родилось опредѣленіе цѣли общественной работы надъ русскимъ воскрешеніемъ, какъ возстановленія русской «мощи въ области международной». Національ-большевики лишь закругляютъ положеніе идеологовъ великодержавности, и этимъ раскрываютъ для насъ глубинную несостоятельность такой формы борьбы съ «разрухой». Для того, кто живетъ только политическими вождельніями, задачи поборотъ боль-

шевистскій соблазнъ — выше силъ. Но говорить это не о достоинствахъ совѣтскаго строя, а о недостаточности замкнутого въ себѣ «этатизма», не знающаго ни о чемъ, что не на землѣ.

Попытка обосновать эту борьбу на культѣ государства ведетъ ко вступленію на «путь въ Каноссу». И самое страшное здѣсь то, что путь, противоположный по направленію, по лежаціи на томъ же уровнѣ пониманія событій, ведетъ въ такую же Каноссу и, быть-можетъ, для національнаго чувства и для великодержавной идеи еще болѣе губителенъ. Низвергнуть немедленно теперешнее русское правительство можетъ только внѣшняя сила и это возможно только въ видѣ интервенціи, менѣе или болѣе замаскированной. Русскую «старую мощь» возстановить можетъ лишь вмѣшательство иностранной державы, прямое или косвенное — въ формѣ субсидій и снабженія. И вотъ спрашивается, если бы даже такое вторженіе «Европы» въ русскія дѣла и состоялось, — по многимъ соображеніямъ это весьма мало правдоподобно, — ставили-ли бы иностранныя силы своею дѣйствительною задачей чисто русскіе національные интересы, или напротивъ, все реальное ихъ дѣло свелось бы къ своекорыстному использованию русской великодержавности? Слишкомъ ясно, что дѣйствительное возстановленіе «старой мощи» Россіи было бы равносильно умаленію всѣхъ другихъ наличныхъ державныхъ и экономическихъ силъ; и выключая утопическую аппеляцію къ международному альтруизму, трудно себѣ

Татьяна Гармаш-Роффе

представить, чтобы нашелся рыцарски-безкорыстный спаситель России. — Конечно, въ восстановленіи России «заинтересовать» весь міръ, — но въ какомъ «восстановленіи»? Я хотѣлъ бы напомнить, что и въ эпоху «Великой Разрухи» русской начала XVII-го вѣка былъ моментъ, когда національные расчеты строились на вмѣшательствѣ иноземной силы: это было въ 1610 году, когда польскаго королевича Владислава избрали на Московскій столъ, и польскія войска шли «возстанавливать порядокъ» въ ставшей добычею «воровъ» и голытьбы Россіи. Но слишкомъ скоро обнаружилось, что эти-то чужеземные носители государственности и «порядка» въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ анархическая, бунтарская масса — и суть главная помѣха подлинно-національному оздоровленію охваченнаго смутною государством. И это было неизбежно. — Эта сторона дѣла обычно ускользаетъ отъ вниманія изъ-за мечтательнаго убѣжденія, что Европа себѣ будетъ защищать, вмѣшавшись въ русскія дѣла, что ей самой опасна большевистская зараза. Въ этомъ доводѣ скрепляются двѣ мысли: во-первыхъ, русская революція опять-таки воспринимается какъ только социалистическій экспериментъ, какъ та самая социальная революція, о которой говорится въ ходячихъ схемахъ исторіи саморазложенія капиталистическаго строя; во-вторыхъ, что весь смыслъ борьбы сводится къ внѣшнему устраненію совѣтской власти. Обѣ мысли — ошибочны. Всякое историческое явленіе стоитъ въ опредѣленной и н д и в и д у а л ь н о й цѣпи причинъ и слѣдствій, и совершенно ясно, что русская революція изъ русской исторіи

выросла, а не изъ абстрактной исторіи «капитализма». Иными словами, «русской революціи» въ Европѣ не можетъ быть; революція въ каждой странѣ можетъ явиться только результатомъ мѣстныхъ условій. И вполне понятно, что всюду вниманіе трезвыхъ men of action занято трещинами и противорѣчіями социальнаго и хозяйственнаго строя и ихъ родной страны, а не смутными «примѣрами» и аналогіями чужого «опыта». Опасны именно свои антиноміи, и было бы грезой и утопией тратить силы не на то, чтобы ихъ преодолѣть, не на стерилизацію собственной почвы, а на то, чтобы истребить чужое поле, съ котораго вѣтромъ заноситъ ядовитыя сѣмена. Это съ одной стороны, а съ другой слишкомъ ясно, что не вопросъ о смѣнѣ правительства стоитъ сейчасъ передъ русскимъ сознаниемъ; съ гораздо большей тревожностью встаетъ въ немъ вопросъ о томъ, что придетъ на смѣну, — и это явнымъ образомъ выводитъ насъ за предѣлы формально-политическихъ заданий и уменьшаетъ почти до нуля весь смыслъ иностраннаго вмѣшательства. Оно можетъ восстановить «порядокъ», возвратитъ обстановку «европейскаго комфорта» и бытовые привычки прошлаго; возможно, что благодаря ему снова начнется эксплуатація естественныхъ богатствъ Россіи, даже въ размѣрахъ превышающихъ прежніе, — сомнительно только, чтобы въ интересахъ самой Россіи. Быть можетъ, Россійская территория снова станетъ міровой житницей, и русскій ленъ и бакинская нефть снова завоюютъ себѣ международный рынокъ... Будетъ ли это — «В е л и к а я Р о с с і я»? не есть ли необходи-

мое условие подлинного «величия» — культурное творчество и национальное напряжение собственных сил? и могут ли это сделать иностранцы? не будут ли они скорее всячески тормозить национальное возрождение, которое бы могло ослабить их значение в новой зоне «влияния»? Во всяком случае, в надеждах на интервенцию слишком явственно сказывается слабость национального самочувствия. Это тоже — путь в Каноссу.

Так неизбежно перерождается в свою противоположность идеология, руководящая в своем патриотическом устремлении единственно мотивами социально-политического порядка. Конечно, тому чувству, которое ее питает, нельзя отказать в наименовании «патриотическим», нельзя отказать этому патриотизму в способности быть ярким, властным и жертвенным; но называть его зорким вряд ли можно, и — скажу больше: можно ли назвать такую любовь к родине праведной и благословенной? Далеко не безразлично, за что любим мы родину, в какое ее «призвание» мы вверим... Содержание нашего идеала, а не темп и страстность, с которыми мы его переживаем, должно определять в последнем итоге оценку нашего пути. Есть любовь к отечеству праведная и святая, и она спасительна и действительна. И есть любовь греховная, и эта любовь — мерзость перед Господом, и, быть может, равнодушие предпочтительнее, чем служение «идеалу Содомскому». Москва Третьяго Рима и Москва Третьяго Интернационала — это не два равноправных, хотя и полярных, формы национального порыва, а — два

бездны... И надо «испытывать духи», даже когда они являются в образе ангелов с небеси... Во дни испытаний, скорби и горя это надо помнить, быть может, еще тверже и непреклоннее, чем во дни изобилия, славы и мощи земной... Чтобы не приняться за дело злохудожное, — за постройку Вавилонской башни...

IV

Первый шаг патриотизма праведного — смирение. Надо признать бессилие свое, бессилие всякого человеческого индивида своею обособленною волею, своею личною мыслью определять и формировать жизнь. Надо признать историческую необходимость свершений и достижений. Но надо помнить: смирение не есть рабская покорность... Смиряться, мы не должны отказываться ни от свободы действия, ни от свободы оценок. Историческая действительность пластична; это значит, что она открыта нашему воздействию. Но не ему одному, — в ней суммируются совместные действия многих взаимнонезависимых причинно-следственных рядов. Жизнь ставит нам задачи и мы своею свободною волею должны решать. Но действовать свободно вовсе не значит — действовать в пустоту: разве творческая деятельность строителя сколько-нибудь ограничивается — в реальном, а не в абстрактно-формальном смысле слова — тем, что он должен сообразоваться и с материалом и с тою обстановкою,

Татьяна Гармаш-Ровфе

въ которой ему приходится работать? Наличная необходимость совершающагося есть лишь особая, своеобразная формулировка ничего иного, как отрицанія нашего всемогущества. Изъ этого, разумѣется, отнюдь не слѣдуетъ, что мы и вообще ничего не можемъ. — Возвращаясь къ нашему конкретному случаю, эту общую мысль можно выразить такъ: признаніе неизбѣжности и объективно-исторической необходимости русской революціи, какъ законѣрнаго результата историческаго процесса, ни въ коей мѣрѣ не устраняетъ императивности творческаго участія въ жизни и никакъ не равнозначна ея моральному оправданію, не требуетъ отъ насъ моральнаго одобренія ея дѣйствительнаго лика, не требуетъ ни сочувствія путемъ ея, ни покорнаго вступленія на нихъ. Именно потому, что революція, какъ фактъ, больше и сложнѣе, нежели сознательные замыслы и умыслы отдѣльных ея участниковъ, — въ одно и то же время возможно «принимать» ея достиженія (въ томъ смыслѣ, который этому слову данъ выше), и морально осуждать и ее, какъ цѣлое, и тѣхъ или иныхъ дѣйствующихъ въ ней лицъ. Область нравственной оцѣнки вообще должна строго отдѣлять отъ области общественно-историческаго «объясненія». Каждый отвѣчаетъ за себя, за свои дѣянія, за ихъ результаты, — хотя бы эти послѣдствія и были совсѣмъ не тѣ, которыхъ онъ мечталъ достигнуть, которые онъ полагалъ себѣ цѣлью: во всякомъ случаѣ, въ качествѣ интегрально-учитываемаго фактора, они вошли въ сложеніе историческихъ силъ. Даже и въ томъ случаѣ, когда сами

по себѣ эти результаты получаютъ — въ какомъ-либо иномъ планѣ, какой-либо иной установкѣ — положительную оцѣнку, — нравственный приговоръ этою оцѣнкою еще не предрѣшается. И именно потому, что человѣкъ свободенъ.

Здѣсь кроется по-истинѣ страшная и соблазнительная опасность: — дѣйствительно, очень и очень легко соскользнуть изъ исторической дедукціи въ моральную діалектику, и отъ объективной законмѣрности происшедшаго и происходящаго заключить къ его нравственной необходимости, и, стало быть, оправданности. Это и есть «хитрость разума», воспѣтая Гегелемъ въ его знаменитой «философіи исторіи»; въ сущности своей она есть прикрытое торжественными восклицаніями признаніе метафизической необходимости зла и его «оправданіе» на томъ основаніи, что кровавымъ и насильственнымъ путемъ достигается «высшая справедливость». Мало того, что здѣсь самымъ грубымъ образомъ смѣшиваются необходимость факта съ обязательностью нормы, и фактъ — въ виду его необходимости — включается въ составъ имманентно, стихійно осуществляемой нормы. Здѣсь рѣчь ведется именно «о злѣ»; событія воспринимаются въ оцѣночной перспективѣ, — говорится не просто о томъ или иномъ явленіи, а о явленіяхъ «дурныхъ» и «хорошихъ». Конечно историкъ долженъ «спокойно зрѣть на правыхъ и виновныхъ, добру и злу внимая равнодушно»; но именно поэтому онъ не можетъ про-изводить вообще никакихъ оцѣнокъ.

Иначе, изъ сочетанія историческаго безпристрастія съ попыткою оцѣночной квалификаціи явленій, неизбежно получится «оправданіе зла». — Именно въ этотъ соблазнъ впадаютъ нынѣ по отношенію къ революціи и большевизму тѣ кто ихъ «пріемлютъ». Ощущая революцію, какъ зло; какъ начало гибели и разрушенія, они въ такомъ качествѣ и не смотря на такую оцѣнку ее пріемлютъ. Между тѣмъ, съ одной стороны «зло» не есть познавательная категорія; а съ другой—изъ того, что русская революція была исторически необходима, изъ того, что по этой причинѣ ее нельзя обходить въ своихъ практическихъ расчетахъ, что ее нельзя вычеркнуть изъ жизни, что идти надо черезъ нее, — изо-всего этого, повторяю, никакъ не слѣдуетъ, что она благо, не слѣдуетъ, чтобы она и морально должна была быть. Такой выводъ есть смѣшеніе разнородныхъ сферъ. Оправдывать правонарушенія, погрѣшепіе нашей, «человѣческой» справедливости соображеніями справедливости высшей, аппеляціей къ верховному «суду исторіи», передъ которымъ право есть исчезающая величина, — это есть безмѣрное кощунство. Полагать, что «историческая сила, побѣдившая въ борьбѣ, есть историческая правда» (Н. В. Устряловъ) — именно потому, что она побѣдила, а «побѣдителей не судятъ», — это есть нечестивое поклоненіе силѣ грубой и виѣшней, поклоненіе силѣ за то одно, что она — сила... Въ предѣлахъ историческаго пониманія вообще нѣтъ мѣста «суду» и приговорамъ. А предъ судомъ нравственнаго сознанія не бываетъ ни побѣдителей, ни «побѣжденных».

Говоря о «судѣ исторіи», и объ его «оправдательныхъ приговорахъ», мы попадаемъ въ рамки того нравственнаго извращенія, когда слезки невиннаго ребенка отираются завлѣкательными сказками о будущей всеобщей гармоніи и благоденствіи другихъ людей. Такая «высшая нравственность», есть воистину безнравственность. Не даромъ сторонники этой точки зрѣнія не обинуясь говорятъ о «кривыхъ путяхъ исторіи» и съ сочувствіемъ цитируютъ циничныя слова Жозефа де-Местра о крови, какъ удобреніи для генія (Устряловъ); можно было бы для полноты повторить панегирики де-Местра палачу, какъ орудію все той-же «высшей» справедливости... Здѣсь — чудовищная аберація нравственнаго сознанія, искаженіе его чисто-логическими примѣсами. На дѣлѣ нѣтъ, и не можетъ быть, никакой высшей справедливости: весь смыслъ нравственнаго сознанія именно въ его полнѣйшей автономіи, и все оправданіе авторитарности нравственныхъ оцѣнокъ — въ ихъ абсолютности, въ томъ, что совѣсть есть «всеобщее законодательство для всего царства духовъ». То, что осуждается нашимъ человѣческимъ, нравственнымъ сознаніемъ, достойно осужденія вообще, само по себѣ, и если бы оно не было мерзостью предъ Господомъ, то весь смыслъ этики исчезъ бы безвозвратно. — Судъ совѣсти можетъ рѣзко разойтись съ «судомъ» исторіи, — т. е. съ объективно-историческимъ сложеніемъ силъ; и въ этомъ нѣтъ ничего поразительнаго для того, кто не принимаетъ этого міра за «лучшій изъ міровъ» и его законовъ за всесовершенные. Исповѣдуя, что этотъ «міръ во злѣ лежитъ», мы, въ

сущности, утверждаемъ лишь самостоятельность, автономію нравственной области; приписывая исторіи моральныя цѣли, мы совершенно искажаемъ весь смыслъ нравственной оцѣнки. Здѣсь въ исходномъ пунктѣ совершается смѣшеніе факта и нормы, и поэтому въ итогѣ неизбежно получение возведеніе факта въ норму и принятіе дѣйствительности за цѣнность. Корень такого міропониманія въ узко-раціоналистическомъ представленіи космическаго порядка. — При этомъ происходитъ прямое уничтоженіе оцѣнки: мѣсто оцѣнивающего субъекта, личности, занимаетъ безликое движеніе стихій. Попытка понять и логически размѣрить міръ и исторію неизбежно приводитъ къ полному отрицанію нравственности: этика безъ остатка замѣщается обожествившимся человѣческимъ разумомъ. «Пониманіе», «объясненіе» оказывается единственнымъ способомъ отношенія къ міру. «Все существующее — разумно» Гегеля есть признаніе типическое. И только съ самаго начала строго разграничивая должное отъ существующаго, мы можемъ оградить неприкосновенность нравственнаго сознанія; и тогда, *eo ipso* намъ дѣлается понятнымъ совмѣстимость невозможности съ точки зрѣнія морали об-суждать достиженія исторіи и необходимости судить нравственнымъ судомъ дѣйствія историческихъ и н д и в и д о в ъ.

Русская революція, какъ фактъ, и революція, какъ «цѣнность», какъ объектъ моральной оцѣнки, это два разные объекта. Принимая «достиженія» революціи, мы вовсе не обязываемся оправдывать ея кровь и развратъ, все горе и весь ужасъ, порож-

денные ею; «достиженія» и «ужасы» революціи лежатъ въ разныхъ плоскостяхъ; и потому, обратно, ни кровь, ни развратъ не могутъ намъ помѣшать признавать ея историческую необходимость. «Слушать революцію» — какъ призывалъ Ал. Блокъ — не значитъ подчинить свою душу волѣ стихій: это значитъ прислушиваться къ ея голосу и идти своимъ свободно избраннымъ и отвѣтственнымъ путемъ, только помня, что вокругъ буря, а не штиль.

Русская революція совершилась, она — фактъ, она нерасторжимо вплелась въ ткань міровой жизни; мало того, русская революція — не бунтъ, а переворотъ, катастрофа, свершеніе какихъ-то судьбъ, конецъ чего-то и начало... Въ этомъ прозрѣніи — глубокая и безспорная правда и Блока, и А. Бѣлаго. Правда — въ томъ, что «въ сердцѣ нашемъ уже отклонилась стрѣлка сейсмографа», что нынѣ рождается Новая Россія. Но глубинѣ поэтическаго провидѣнія здѣсь рѣшительно не соответствуетъ сила мысли, которая должна раскрывшіеся въ интуиціи образы претворять въ философскія схемы и исторіософическія сужденія. Ярко и напряженно ощущающіе трагическую пульсацію бытія, — эти поэты безпомощны осознать трагизмъ, и въ сознаніи своемъ всячески «преодо-лѣваютъ» его насильственными логическими дедукціями, стараясь и его вдвинуть въ рамки необходимости. Можно прямо сказать: они опошляютъ трагедію, жуткую и умирительную, стараясь раскрыть ея прагматическій «смыслъ», расшифровать «раціональное» значеніе ея мукъ и бореній. И на мѣстѣ

святъ оказывается скучная механика «стихий», превращенныхъ въ абстракцію. Но этого мало: Блокъ утверждаетъ, что «жизнь прекрасна», что страшный и отвратительный «гуль» революціи — «о великомъ», что окровавленные и обезцвѣченные «двѣнадцатъ» идутъ «державнымъ шагомъ» и несутъ міру — «миръ и братство народовъ». Онъ уповаешь, что конечное торжество правды совершится на землѣ и совершится силами чело вѣческими; онъ знаетъ, что такъ и будетъ — по неотразимой, принудительной волѣ стихій. Вотъ почему съ упоеніемъ онъ «слушаетъ революцію» — онъ видитъ во главѣ ея «въ бѣломъ вѣничкѣ изъ розъ» — Христа: но видитъ ли онъ на самомъ дѣлѣ, созерцаетъ ли онъ или галлюцинируетъ на лнху? не отъ самовнушенія ли его «видѣнія»? Вѣдь онъ знаетъ, — твердо и непреклонно, изъ какого-то докритическаго источника, — что Христосъ идетъ впереди у всякаго движенія, ибо всякое движеніе «прекрасно» и благо и ведетъ къ тому благу, которое должно раскрыться «въ концѣ». Такъ трагедія становится, въ сущности, «индифферентной»: вѣдь «цѣль достигнута зараиѣе, побѣда предваряетъ бой...» какъ выразился когда-то Вл. Соловьевъ. Весь упоръ Блока именно въ томъ, что цѣль — стихійна, неотвратимо предопредѣлена, что рано или поздно потоки крови перестанутъ литься, земля впитаетъ ихъ, и въ концѣ концовъ «прекрасная жизнь» расцвѣтетъ и зазеленѣетъ. — Здѣсь, собственно, уже нѣтъ эмпирическаго «пріятія революціи», здѣсь — нѣчто гораадо болѣе широкое: метафизическое «примиреніе съ

дѣйствительностью». Это — подлинно предѣльное — дерзновеніе «вѣры» въ «лучшій изъ міровъ». Неудивительно, что на этихъ пламенныхъ высотахъ съ усть легко срываются и пророчества о томъ, какъ «мясо бѣлыхъ братьевъ жарить» будутъ міро-ладыки завтрашняго дня, и сладострастные признанія въ любви къ «душному, смертному» запаху плоти... Но не отъ Бога этотъ пламень, этотъ взлетъ, — на нихъ явный знакъ ада. — Кошунство Блока не въ томъ, что онъ «пріемлетъ революцію», а въ томъ, что пріемлетъ ее онъ слѣпо, не замѣчая ея подлиннаго трагизма, совершенно растворившагося для его сознанія въ безстрастной и нелицеприятной необходимости быванія. Нечестіе Блока не столько даже въ преклоненіи передъ совершающимся, въ идолопоклонствѣ передъ фактомъ, сколько въ томъ, что мѣсто «факта» у него заняли воплотившіяся въ образы «идеи». Иллюзорный міръ Блока есть міръ чистаго разума. И оттого его міропониманіе, родившееся изъ катастрофическаго міроощущенія лишено, въ конечномъ итогѣ, даже простой динамики: оно до крайности статично, сначала и до конца пропитано духомъ анти-историческимъ. Міръ Блока законченъ: «цѣль достигнута зараиѣе». Блокъ пріемлетъ дѣйствительность не въ ея живомъ, непосредственномъ, конкретномъ обликѣ: онъ загроможденъ у него галлюцинаторными примѣсьями. Онъ пріемлетъ жизнь въ «идеѣ»; собственно, даже вовсе не «жизнь» пріемлетъ онъ, а ея «смыслъ», какое-то содержаніе, въ ней воплощенное... У него въ сущности вовсе нѣтъ «воспріятія», наивнаго и чуткаго; на его мѣстѣ «вчувствованіе»,

Татьяна Гармаш-Роффе

толковываніе, внесеніе идеи въ данное духовному взору. Толкованіе превѣшиваетъ интуицію. Сла- достныя пророчества Блока протекаютъ не изъ кроваваго образа, тяжелаго, гнетущаго, растравляю- щаго душу, который предъ его плотскими очами, — а изъ апіорнаго, отвлеченнаго «знанія» о томъ, что нынѣ совершается послѣдній и окончательный перегибъ историческаго пути, и исторія устремля- ется по линіи наименьшаго сопротивленія — къ обѣ- тованной землѣ. Предразсудки знанія мѣшаютъ ви- дѣть и заставляютъ принимать игру своего воспа- леннаго жаждою нетерпѣливаго ожиданія разсудка за глубинную реальность историческаго бытія. И самовнушеніе это, по-истинѣ, страшно. Въ болѣз- ненной грезѣ рядомъ съ краснымъ флагомъ, несо- мымъ окровавленными руками, Блокъ видитъ Хри- ста; Андрей Бѣлый въ «могилѣ», простершей «блѣд- ный крестъ» «видитъ» уже воскресшаго Христа. Все это вовсе не узрѣніе, — это голое, насильственное толкованіе. Правда, изъ одного «наблюденія» мы вообще не можемъ узнать, что совершается. Безъ знаменій мы даже въ *dies irae* не догадаемся, что Страшный Судъ насталь. Но наблюденія должны провѣрять и контролировать толкуюція гипотезы, и вотъ этого правила «скины» не соблюдаютъ. — Въ «данной» дѣйствительности Христа нѣтъ — поэты не могутъ Его созерцать. Всѣ ихъ пророчества не могутъ Ею созерцать. Они знаютъ, что «въ вѣкахъ, въ народахъ, — въ сплошныхъ си- неродахъ небесъ» — «есть, было, будетъ» спасеніе. И безъ доказательства принимаютъ, что Россія — «та самая, облеченная солнцемъ Жена, къ которой

возносятся взоры». Имъ кажется, что пересѣченіе уповаемаго и совершаемаго уже произошло, что «спасеніе» уже настало. Все это — ни на что не опертые дерзкіе домыслы. Поэты догматически тол- куютъ дѣйствительность. Дерзновеніе ихъ «вѣры» сильно, — они многое готовы принять безъ «дока- зательствъ»: но спасительна ли вѣра въ собствен- ную грезу?

Образы самовнушенія заслонили для «скиновъ» всю непосредственную дѣйствительность. Говоря о томъ, «новомъ словѣ», которое міру несетъ Новая Россія, они въ сущности этого слова, не знаютъ и по- тому не могутъ его произнести: они не могутъ ска- зать, что собственно новаго несетъ міру Россія. Прок- лятія старому міру звучатъ у нихъ сильно, мощно и ярко, — но о новомъ они говорятъ, вяло, говорятъ въ абстракціяхъ, говорятъ такъ, какъ можно было говорить и много лѣтъ назадъ, когда еще «ничего не было». Они не выходятъ за предѣлы условно-рето- рическихъ образовъ волка и ягненка, братски ле- жащихъ рядомъ, и мечей, перекованныхъ на орала, за предѣлы старой грезы о «чудесахъ республики». Въ этихъ образахъ нѣтъ ни одной индивидуаль- ной черты. Скины говорятъ не о русской революціи, а о социалистической революціи вооб- ще, о той абстрактной, благодарной революціи, ко- торая должна быть. Нѣтъ ничего новаго и въ сочетаніи «соціализма» съ антитезою Россіи и Ев- ропы; ибо въ сознаніи скиновъ противостоятъ не жи- выя Россія и Европа, а олицетворенныя «идеи». И пусть даже эти «идеи» угаданы вѣрно, — совершен- но не угаданъ ихъ конкретный ликъ; а живутъ въ

истории, во времени, вѣдь, все-таки не идеи... Трудно отдѣлаться отъ подозрѣнія, что скиѣи оттого оперируютъ съ отвлеченностями, что конкретной противоположности они вовсе не ощущаютъ, — что они не видятъ той подлинной, «линяющей» Европы, которой нынѣ противостоитъ выгорающая въ огненныхъ испытаніяхъ, рождающаяся Россія. Изъ этой слѣпоты къ конкретно-происходящему и ихъ связанность христіанскими образами, которые они кощунственно пародируютъ; то новое всеразрѣшающее слово, которое они хотятъ возвѣстить, еще не прозвучало, и они гадаютъ о немъ по аналогіи и по контрасту съ прежними вѣчными словами, уже явленными міру.

Скиѣи мирятся съ революціей, приеѣмлютъ ее потому, что въ сущности ее-то они вовсе не видятъ; «дѣйствительность» для нихъ только случайное облаченіе совершенно надвременнаго, хотя и во времени раскрывающагося плана. «Идея» воплощается и осуществляется. Абсолютный Духъ проходитъ свою Голгофу, — «побѣда предваряетъ бой». И потому отъ нихъ, зачарованныхъ побѣдою, сокрыты всѣ ужасы кроваваго побоища. Съ конкретной жизнью они примиряются оттого, что съ самаго начала примирились со всякою дѣйствительностью, ушли отъ нея въ ясный для разума «міръ идей». Исторіи, какъ реально ощущаемой динамики, здѣсь уже нѣтъ; осталась одна чистая мысль Россіи скиѣи не видятъ, они видятъ только «И н о н і ю», — Они видятъ только свою грезу. Анти-историческій раціонализмъ той примитивной идеологии, о которой мы говорили выше, преодо-

лѣвается здѣсь мнимо, призрачно. Происходить только смѣна тезиса — антитезисомъ, а узлы заколдованнаго кольца остаются по-прежнему. На мѣсто всемогущества отдѣльнаго человѣка ставится всевластіе слѣпой стихіи, всемогущество не с в е р х ъ - личного, а безъ-личнаго начала. Тамъ дѣйствительность расплывалась въ грезу, ибо исчезало все, кромѣ воли немногихъ; здѣсь по-прежнему нѣтъ дѣйствительности, а голая мечта, ибо исчезъ дѣятельный человѣкъ, а остался лишь созерцатель. Синтезъ свободы человѣческаго дѣйствія съ самозаконною ритмикою жизни остался недостижимымъ. Сознаніе ограничено полярностью соотносительныхъ идей: аморфнаго міра и міра однозначно скованнаго цѣпами безызытнаго предопредѣленія. Для живой исторіи и творчества — мѣста все еще не нашлось.

Только анархически-самодержавная индивидуальная мысль замѣстилась желѣзнымъ законодательствомъ всемогущаго разума. Въ этомъ царствѣ чистаго разума нѣтъ мѣста и вообще живымъ и конкретнымъ чувствамъ, нѣтъ мѣста и нравственному дерзанію. «Любовь къ отечеству» здѣсь невозможна; то, что является здѣсь подъ этимъ именемъ, въ дѣйствительности есть любовь къ принципу, къ «идеѣ», къ «убивающей буквѣ». И нѣтъ въ ней элементовъ творческихъ, — она можетъ быть только слѣпымъ фанатизмомъ, ибо предметъ ея является не пластичная живая стихія, и носителемъ — не реальный живой человѣкъ, а мертвый пассивный матеріалъ міра, самодовлѣю-

шая нормативная схема и безвольный созерцатель катастрофических сдвиговъ.

Въ итогѣ — тотъ же ирреализмъ, къ которому приводитъ намѣренное закрываніе глазъ на динамику происходящаго: и тѣ, кто не хочетъ вообще видѣть наличность катастрофы, и тѣ, кто катастрофу хочетъ уложить въ формулы мірового «прогресса», — до живой дѣйствительности дойти не могутъ. И ихъ рецепты обречены на безплодіе.

V

Предшествующій анализъ привелъ насъ къ двумъ вполне конкретнымъ задачамъ: одна — чисто эмпирическаго, фактическаго порядка, другая — проблема философско-историческаго. Мы должны, во-первыхъ, выяснитъ историческій смыслъ и значеніе нынѣшнихъ русскихъ событій, избѣгая превратить ихъ либо въ созданіе личныхъ произволовъ, либо въ отвлеченный моментъ нѣкаго логическаго плана. И во-вторыхъ, мы должны искать новаго исторіософическаго синтеза, который бы преодолѣлъ голую противоположность самоутверждающейся и самодержавной личности и объективной закономерности мірового быванія, который бы совмѣстилъ правду радикальнаго индивидуализма съ правдою космическаго логизма, правду о «сверхчеловѣкѣ» съ правдою о Софіи. Метафизическая значительность переживаемого нами момента тѣмъ и опредѣляется, что эти двѣ проблемы не просто параллельны, не слу-

чайно связаны, а какъ-то органически срослены, и рѣшить ихъ можно только совмѣстно.

Подымаясь въ ретроспективномъ анализѣ къ началкамъ того строя, крушеніемъ котораго представляется въ конкретно-исторической перспективѣ русская революція, мы приходимъ къ другой революціи, къ другому «великому потрясенію» и перевороту. Новая Россія, зачатая и преобразованная въ буряхъ Смутнаго Времени, родилась какъ твореніе, какъ созданіе индивидуальнаго дерзновенія воли Великаго Преобразователя. Въ высшей степени ошибочно и превратно опредѣлять и оцѣнивать Великую Разруху начала XVII вѣка единственно, какъ возстаніе «воровскихъ» элементовъ общества на цѣнности правопорядка, какъ анархическое покушеніе черни на блага культурнаго обществитія. Не говоря уже о томъ, что Москва XVI вѣка вовсе не была правовымъ государствомъ и только въ процессѣ «смуты» выковались и сознательно оформились основныя понятія «публичнаго права», — совершенно невозможно учитывать въ «смутѣ» только ея разрушительный аспектъ. Голаго разрушенія въ исторіи вообще никогда не бываетъ, — «великія потрясенія» порождаются всегда органическимъ процессомъ саморазложенія существующаго культурно-бытового порядка, и въ его крушеніи осуществляются новыя формы живого синтеза постоянно дѣйствующихъ историческихъ силъ, — создается какой-то новый порядокъ. Разложеніе античности, паденіе римской имперіи и рожденіе средневѣковья, образованіе феодальнаго строя варварскихъ королевствъ — это разныя

имена для одного и того же факта; другой вопрос — как мы сравнительно одѣнимъ «старый порядокъ» и «новый строй». И тоже должно сказать о русской Смутѣ: она была концомъ, имманентно-необходимымъ крушеніемъ династически-тяглогового и націоналистически-замкнутого Московскаго государства-помѣстья Рюриковичей; и она же была началомъ національной Имперіи Всероссийской, началомъ русской великодержавности, началомъ Россіи, какъ «части Европы». Конечно, въ общемъ, «достиженія» смутнаго времени были только задачами, — но иначе въ конкретной жизни никогда не бываетъ; и изъ работы надъ этими задачами, послѣ дѣлаго столѣтія преобразовательныхъ опытовъ, развилась Петровская Реформа, — новая революція, на этотъ разъ умышленная и произвольная. И, именно, здѣсь опредѣлились окончательно начала нынѣ рухнувшаго строя, здѣсь сложились и намѣтились основныя антиноміи только что закончившагося или, если угодно, оборвавшагося періода русской исторіи.

Петровская реформа была, по образному выраженію Герцена, дерзновенною попыткою «сразу перевести Россію изъ второго мѣсяца беременности въ девятый», — попыткою не выростить, а вдругъ сдѣлать Великую Россію, сразу и сверху перестроивши всѣ наличныя отношенія по отвлеченному образцу, составленному по аналогіи съ чужеземными формами жизни. Этимъ въ значительной мѣрѣ были предопредѣлены характеръ и направленіе дальнѣйшаго развитія Петербургской Россіи; переживаемое нами ея крушеніе есть именно

конечный результатъ того, что она создавалась, а не родилась. Вся ея исторія слагалась изъ противорѣчій, — и именно потому, что человѣческая мысль и воля постоянно стремились утвердить себя внѣ связи и въ прямомъ диссонансѣ съ тенденціями естественнаго, органическаго роста. И глубоко пророческимъ является сдѣланное давно уже Ключевскимъ сравненіе Новой Россіи съ птицею, которую вихрь несетъ и подымаетъ ввысь не въ мѣру силы ея крыльевъ: неизбежно наступитъ моменту, когда птица упадетъ на землю и больно расшибется... Есть что-то знаменательное въ томъ, что внутреннее безсиліе Россіи и ея социально-политическій распадъ совершились въ періодъ наивысшаго раскрытія ея международной мощи, наканунѣ, казалось, реализаціи ея предѣльныхъ великодержавныхъ мечтаній... И вдругъ рассыпалась волшебная сказка, «и душа опять полна возможнымъ»... Сказались третины скрытыя и непримѣтныя, — и все рухнуло, все распалось...

О противорѣчій русской исторической жизни говорятъ часто и охотно, но обычно ихъ сводятъ къ одной только политической области, и освѣщая генезисъ русской революціи сосредоточиваютъ все вниманіе на расколѣ между властью и обществомъ. Не говоря уже о томъ, что политическимъ расколомъ раздвоенность русской жизни отнюдь не исчерпывалась (и, какъ мы увидимъ, не онъ былъ первичнымъ и основнымъ), — въ обычныхъ формулировкахъ плохо схватывается и его собственное индивидуально-русское своеобразіе. Ошибка начинается уже съ опредѣленія: противопоставлять

Татьяна Гармаш - Ровфе

МАТЕРИАЛЫ ВОДЫ

власть «обществу», характеризовать «старый режим» как самодержавие, т. е. как неограниченную «абсолютную» монархию, — это значит переносить въ изученіе русскаго историческаго процесса готовые схемы политической эволюціи запада. Между тѣмъ фактически основной слабостью русской монархіи императорскаго періода являлось совѣмъ не то, что она представляла интересы «меньшинства», такъ или иначе ограниченнаго, а то, что она вообще никого не представляла, или, — что еще хуже, — представляла нѣкоторую мнимую величину, «отвлеченную мысль европеизма», какъ выразился однажды Герценъ. Въ Россіи не было ни сословной монархіи, ни господства опредѣленнаго класса. Ключевскій очень удачно опредѣлялъ управлявшій Россіей слой, какъ «дѣйствующую внѣ общества и лишенную всякаго соціальнаго облика кучу физическихъ лицъ разнообразнаго происхожденія, объединенныхъ только чинопроизводствомъ». Нужно только сейчасъ же къ этому прибавить — эта своеобразная группа была создана петровской реформой и за чинопроизводствомъ стояла нѣкоторая бытовая общность — принадлежность къ петербургско-европейской «культурѣ». Исторически именно по этому послѣднему признаку и сложился русскій правящій классъ. Съ нимъ въ тѣсной связи находилась и правительственная программа императорской Россіи: при различныхъ высотахъ государственной дивинаціи, на всемъ протяженіи послѣдняго историческаго періода эта программа неизмѣнно остается

въ существѣ своемъ не національной; даже въ самые свѣтлые моменты нашей исторіи она опредѣляется не столько органическимъ ощущеніемъ потребностей и задачъ народнаго тѣла, сколько теоретическими соображеніями европейски-вышколенной мысли. Въ этомъ и коренилась неизбывная слабость русской государственности. Она усугублялась тѣмъ, что тѣмъ же порокомъ — приверженностью къ отвлеченной политической мудрости — страдала и противостоявшая власти группа — «общественность», а народъ — «безмолвствовалъ», безмолвствовалъ отчасти потому, что не умѣлъ выразить своей воли на техническомъ языкѣ «европеизированной» власти. Русское «общество» не представляло собой отчетливо опредѣленной величины; оно объединялось тоже только общимъ культурно-бытовымъ обликомъ — преданностью все той же «отвлеченной мысли европеизма» (единичныя исключенія въ счетъ не идутъ). Завязка трагедіи лежала не въ томъ, что самодержавная власть упорно не шла на уступки «обществу», не въ томъ, что «представители общественности» своевременно не были призваны въ ряды «правлящаго класса». Антиномичность положенія опредѣлялась тѣмъ, что никакое передвиженіе границъ между «властью» и «обществомъ» не могло преодолѣть основного отчужденія правящаго класса отъ массы населенія. Во главѣ управленія неизбѣжно оставалось бы культурно-обособленное «меньшинство», руководящееся своею, а не народной идеологіей; Россія продолжала бы управляться отвлеченными принципами, и власть не стала бы живымъ органомъ на-

роднаго тѣла, не стала бы жить реальной жизнью. Этого не могла дать никакая продолжительность политической тренировки. Измѣненію подлежало нѣчто настолько глубокое, что въ предѣлахъ нашего предвидѣнія измѣненіе это мыслимо только въ катастрофическихъ очертаніяхъ.

Завязка русской трагедіи сосредоточена именно въ фактѣ культурнаго расщепленія народа. Раздѣленіе «интеллигенціи» и «народа», какъ двухъ культурно-бытовыхъ, внутренне-замкнутыхъ и взаимно-ограниченныхъ сферъ, есть основной парадоксъ русской жизни, порожденный именно петровскою реформой: какъ-бы ни дѣлилось на слои — по различнымъ признакамъ — московское населеніе до Петра, оно было однородно по своей культурѣ и по быту. Московская культура имѣла свои верхи и свои низы; будучи весьма многосоставна по происхожденію, она имѣла единое средоточіе и творческій центръ, — она жила единой жизнью во всемъ народѣ. Идеализировать прошлое не приходится: московская старина имѣла свой тяжкій грѣхъ, и этотъ грѣхъ заключался въ націоналистической ограниченности, которая такъ ярко сказалась въ старообрядчествѣ, но не менѣе опредѣленно выразилась и въ томъ, что расколу противостояло. Ошибка раскольниковъ заключалась не въ канонизаціи прошлаго, а въ неспособности взглянуть на него иначе, какъ на предметъ сохраненія и обереганія, въ неспособности и, болѣе того, въ отсутствіи и потребности и вкуса къ творчеству. Но тѣмъ же грѣшилъ не

только Никонъ, умѣвшій лишь копировать грековъ, но и самъ Петръ, знавшій только одинъ способъ отношенія къ иноземному — перенимать. Какъ бы то ни показалось неожиданнымъ, вопреки обычному представленію, за главную слабость и за наиболѣе вредную и опасную сторону петровской реформы слѣдуетъ считать именно ея прикладной характеръ, то узко-техническое отношеніе къ культурѣ, которое лежало въ ея основѣ. Пресловутое «окно въ Европу» было прорублено не потому, что за нимъ брезжилъ свѣтъ просвѣщенія, и не для того, чтобы расширить свой кругозоръ и подыскать новыя культурныя травы для посѣва на родной нивѣ. Окно прорублено было затѣмъ, чтобы украдкою, неслышно пролѣзши сквозь него, стать въ Европѣ твердой ногой. Оно было прорублено оттого, что на западѣ былъ на лицо въ готовомъ видѣ культурно-бытовой «приборъ», весьма сподручный съ точки зрѣнія государственной пользы. И именно по этой причинѣ европеизація оказалась равнозначной денационализаціи. Спервоначально задача была поставлена именно такъ, — должно было стать европейцами, точнѣе говоря, — суррогатомъ европейцевъ — т. е. людьми, способными замѣнить и замѣнять европейскихъ «специалистовъ» («и видѣть таковыхъ желаетъ, какихъ зоветъ отъ странъ чужихъ», писалъ Ломоносовъ). Европа принималась какъ законченный фактъ, а не какъ живая цѣнность, — какъ готовый культурно-бытовой укладъ, полезный — именно въ его наличномъ видѣ — и для насъ, а внутренній смыслъ этого житейскаго уклада

и скрывавшаяся под нимъ духовная сложность совершенно опускались изъ виду. Въ итогѣ получилось нѣчто весьма неопредѣленное и расплывчатое — «культура» безъ осевого стержня и люди съ децентрализованнымъ сознаниемъ. Западный бытъ (включая сюда и науку, и технику) выросъ на опредѣленномъ духовномъ корню и органически сложился въ коллективной работѣ поколѣній; взятый самъ по себѣ, онъ представлялъ собою только разнородную мозаику. Сдѣлать его живымъ не могла внѣшняя цѣль «общенародной пользы». Отъ этого исторически судьба его въ Россіи была двойка. Либо онъ былъ усвоенъ только въ качествѣ раковины или скорлупы, въ которыхъ продолжалась независимая и самобытная жизнь, — тогда онъ становился тяготящимъ внѣшнимъ грузомъ, сохраняя значеніе лишь своеобразнаго символа; либо воспринимавшіе его старались овладѣть и его истоками, и тогда становились «европейцами» въ полномъ смыслѣ слова, переставая съ тѣмъ вмѣстѣ быть русскими. Въ послѣднемъ случаѣ, правда, онъ оживалъ, — но средоточіе жизни оказывалось совершенно за предѣлами національнаго организма. Лишь единицы (въ самомъ буквальномъ смыслѣ слова) подымались до творческаго отношенія къ нему, — они воспринимали уже не европейскій бытъ, а европейскія «идеи», то вѣчное и внѣвременное, что воплотилось въ историческихъ достиженіяхъ народовъ Запада. Но они никогда не образовывали сплоченной группы. Общественное значеніе имѣли только два первыхъ типа «европеизаціи». «Интеллигенція» русская явилась от-

прыскомъ того класса техническихъ работниковъ, который былъ подобранъ для государственной надобности Великимъ Преобразователемъ. Для нея роль духовно-организующаго центра игралъ, либо отвлеченный идеаль русской великодержавной государственности, либо столь-же отвлеченный идеаль европейской цивилизаціи. И когда съ теченіемъ времени родилась тяга къ землѣ, къ «почвѣ», къ родному, то это было уже «возвращеніе», — не непосредственное и невинно-чуткое переживаніе истиннаго, своего, а «открытіе», часто поражающее и отуманивавшее своей неожиданностью. Отсюда происходило столь частое фетишистское отношеніе къ родному, лишенное того подлиннаго подъема и державности, которое дается только законнымъ рожденіемъ и кровной связью.

Главное заключалось, однако, въ томъ, что эта европеизація — все въ силу того же своего прикладнаго характера — затронула лишь меньшинство населенія: основная масса осталась, въ существенномъ, въ предѣлахъ стараго міроощущенія и міропониманія. Именно отъ него, отъ всей совокупности изстари складывавшихся культурно-бытовыхъ навыковъ надо было отказываться, чтобы выйти изъ «народа» въ «интеллигенцію». Въ этомъ и заключался общественный расколъ. Уже очень давно въ своихъ «Очеркахъ по исторіи русской культуры», никто иной, какъ П. Н. Милюковъ, совершенно правильно указывалъ, что «разрывъ произошелъ у насъ въ области вѣры», и отклонялъ, какъ слишкомъ общее и недостаточно проникающее, объясненіе его необходимостью «догнать Евро-

пу» и невозможностью для массъ успѣть при этомъ за европейскимъ развитіемъ. Быть можетъ, самымъ характернымъ моментомъ петровской реформы была попытка перевести на подчиненное и второстепенное мѣсто ту силу, которая вѣками являлась средоточнымъ началомъ русской жизни, — Православную Церковь; превращеніе ея въ одинъ изъ органовъ государственнаго аппарата окончательно мумифицировало русскую жизнь. Православіе и Церковь, религиозное устремленіе, по прежнему остались въ центрѣ «народной жизни», — но съ народа были срѣзаны органически выросавшіе на немъ верхи и дальнѣйшему росту новыхъ вершинокъ были поставлены всяческія преграды. Не слѣдуетъ чрезмѣрно преувеличивать культурнаго богатства до-петровской Руси; въ особенности не слѣдуетъ забывать объ отмѣченной уже слабости творческихъ устремленій въ массахъ. И тѣмъ не менѣе не подлежитъ никакому сомнѣнію, что кругозоръ московскаго книжчія XV—XVI вѣка по размѣрамъ и углубленности нисколько не уступалъ кругозору его западныхъ современниковъ. Конечно, не во всѣхъ областяхъ; но въ тѣхъ, въ которыхъ собственно складываются культурныя цѣнности порядка непреходящаго, въ сферѣ религиозно-философской, древне-русская письменность являетъ намъ сокровища безцѣнныя. Святоотеческая литература, письменность аскетическая, воплотившая въ себѣ всѣ лучшія традиціи освоеннаго православнаго мысля духа эллинской философіи, были тою средой, въ которой формировался и оттачивался древнерусскій культурный идеаль. Онъ слагался

на Исаакъ Сиринъ и Максимъ Исповѣдникъ, на Василии Великомъ и Аѳанасіи Александрійскомъ, — это значитъ на ученіи Христа, выраженномъ на языкѣ того культурнаго міра, средоточіе и вершина котораго — Платонъ. Можно сказать, Платона, который въ эпоху итальянскаго возрожденія вдругъ оживилъ и оплодотворилъ мысль «Запада», на Руси хорошо знали много времени до того, какъ его имя — послѣ тысячелѣтнаго забвенія — услышали — и снова съ «Востока» — въ Европѣ. Но существеннѣе всего другое: та культура, которою на верхахъ жили избранные умы, та же самая культура питала и всю народную толщу. Ибо изъ святыхъ отцовъ черпались «уставныя чтенія», которыя «народъ» слушалъ за богослуженіями, въ святоотеческомъ духѣ составлялись сборники для благочестиваго чтенія, — и главное тѣми-же святыми отцами — и въ томъ-же духѣ — созданы были весь циклъ богослужебныхъ пѣснопѣній. И это не оставалось мертвымъ богатствомъ: вліяніе церковной письменности на живое, «устное» народное творчество — есть объективный фактъ. — И вотъ когда было нарушено органическое сращеніе «верховъ» и «низовъ», когда церковному духу было предоставлено мѣсто только на низахъ, — тогда въ основной своей струѣ религиозное влеченіе народа приняло искаженное теченіе: народная религиозность находила себѣ исходъ то въ расколъ, то въ мечтательной морали штундизма, то въ изувѣрныхъ порывахъ мистическихъ сектъ. Нужно замѣтить, что всѣ эти явленія есть достояніе только Новой Россіи и выше конца XVII вѣка не восходятъ. И при всемъ томъ

Татьяна
Гармаш-Роффе

всегда чувствовалось искусственное давление сверху — в старину это ощущение породило легенды о подмѣненномъ царѣ-нѣмчинѣ, который есть никто иной, какъ самъ антихристъ; потомъ оно отразилось въ летучихъ грезахъ о какомъ-то чудесномъ переворотѣ всей жизни, (неизмѣнно — съ устраненіемъ «интеллигенціи»); въ наши дни оно вылилось въ формы грубой ненависти къ «культурѣ» баръ и «господъ» и угрюмага недовѣрія къ нимъ даже тогда, когда нельзя указать никакихъ эмпирическихъ причинъ для отчужденія. Не подлежитъ сомнѣнію, что въ міровоззрѣніе массъ «соціалистическая» идея вовсе не вошла (если только за социализмъ не принимать врожденнаго недовѣрія и недружелюбнаго отношенія къ формальному государственному идеалу), — она оказалась лишь отдушиной для исхода скопившагося глухого недовольства. Слова Достоевскаго: «Русскій народъ весь въ православіи» сохраняютъ въ полнотѣ свое значеніе и нынѣ, — этому нисколько не противорѣчатъ тѣ проявленія дикости и хулиганства, примѣровъ которыхъ такъ много теперь. Ихъ зналъ не мало и самъ Достоевскій. Эти явленія суть порожденія, именно того ложнаго культурнаго положенія народа въ общей системѣ русской жизни, того искусственнаго «паралича» русской церкви, которые были произведены петровской реформой. Если мы теперь повторимъ призывъ того-же Достоевскаго: «Стать на путь смиреннаго единенія съ народомъ», — это вовсе не будетъ означать ни зова назадъ, въ ветхую Москву, ни вступленія на путь народническаго опрощенія. Единеніе съ народомъ

есть заданіе для культурно-творческой воли исходить въ своемъ строительствѣ изъ основныхъ началъ народнаго духа, опираться на тѣ цѣнности, которыми онъ живетъ, — или по крайней мѣрѣ, къ которымъ тяготѣеть. Православіе есть нѣчто большее, чѣмъ только «вѣроисповѣданіе», — оно есть цѣлостный жизненный идеалъ, сложная совокупность оцѣнокъ и цѣлей; и хотя въ жизнь народомъ оно претворялось и претворяется весьма несовершенно, въ той или иной мѣрѣ печать его лежитъ на всѣхъ народныхъ созданіяхъ. И чтобы стать «русскимъ», дѣйствительно необходимо «быть православнымъ».

Здѣсь именно лежитъ послѣдняя причина глубокой ненаціональности петербургскаго періода, его бездушности. Отвернувшись отъ духа народнаго, петербургскіе верхи не могли одухотворить себя чужеземными началами, — и получилось зрѣлище двуединаго народа, состоящаго изъ напряженно-ищущей массы, лишенной и руководства, и возможности духовно подняться, и изъ «кучи физическихъ лицъ», живущихъ въ изолированномъ мірѣ отвлеченныхъ идей. Такая база непригодна для тяжелаго зданія, — и Имперія Россійская рухнула. Не обинуясь можно сказать, что рухнула петербургская Россія, кончился петербургскій періодъ.

Русская революція — не только бунтъ; она не есть голое разрушеніе, не всплескъ буйной неосмысленной стихіи; — въ ней есть свои свершенія, свои достижения. Она не есть и окончательный истори-

чешкій катаклизмъ, не есть тотъ скачекъ въ царство свободы, которымъ по лжеупованиямъ многихъ должна кончиться историческая страда исканій и разочарованій. Никакихъ послѣднихъ рѣшеній, никакихъ всеобъемлющихъ откровеній она не принесла съ собою и не явила міру. Русская революція прежде всего русская — по происхожденію своему и по смыслу, по своему объективному содержанию; и то, что въ ней раскрывается, есть русская правда, правда о Россіи. Если угодно, въ революціи совершился «судъ исторіи», «судъ» надъ опредѣленнымъ историческимъ періодомъ русской жизни, т. е. надъ опредѣленнымъ рѣшеніемъ выдвигаемыхъ жизнью задачъ. Революціей кончился не буржуазный строй и не эпоха капитализма, — революціей кончилась только петербургская Россія: и кончилась двояко — какъ фактъ и какъ «идея», какъ конкретно-бытовой укладъ и какъ культурное унастроеніе. Если угодно вся революція есть въ сущности — контръ-революція, исподволь подготовлявшійся отпоръ народнаго ядра тому единоличному дерзанію, которое нарушило органическое развитіе русской жизни и сдѣлало попытку подчинить ее внѣшнимъ, земнымъ цѣлямъ — съ полнымъ забвеніемъ цѣлей иныхъ. Въ революціи потерпѣлъ крушеніе замыселъ обосновать русское могущество на волѣ и темпераментѣ «избраннаго» меньшинства — помимо органическаго роста народнаго уклада. Разбилась утопія — вести народъ къ цѣлямъ надуманнымъ, а не къ тѣмъ, которыя влекутъ его душу и постепенно проясняются въ сознаніи изъ него выходящихъ лучшихъ его

людей. «Лучшіе пойдутъ отъ народа и должны пойти», предсказывалъ Достоевскій, — «а наша интеллигенція изъ чухонскихъ болотъ прошла мимо». И какою бы ни возродилась Грядущая Россія, она будетъ — мы вѣримъ — Россією единаго народа, творчески опредѣляющаго свое бытіе.

VI

Воспріятіемъ русской революціи, какъ неизбежнаго итога нѣкоего духовнаго извращенія, лежащаго въ основѣ всей русской жизни послѣдняго историческаго періода, предопредѣляется и единственно правомѣрный путь ея преодоленія: разбушевавшіяся стихіи могутъ быть умирены и успокоены только изнутри, только силою духа, очистившагося и обновившагося въ испытаніяхъ и преодолѣнннхъ соблазновъ. Русская разруха можетъ быть побѣждена только духовнымъ возрожденіемъ, только тогда, когда въ основу строительства будутъ положены новыя начала, глубоко отличныя отъ тѣхъ, которыми опредѣлялась въ своемъ сложеніи и развитіи рухнувшая жизнь. Рѣшеніе русской загадки можетъ быть найдено только тогда, когда она будетъ поставлена въ категоріяхъ «борьбы Бога и дьявола», совершающейся въ сердцахъ людей; и когда будетъ осознано, что единственный выходъ дается сердечнымъ исповѣданіемъ: не къ кому намъ идти Господи, Ты имѣешь глаголы жизни вѣчной. Лишь въ паѳосѣ религіознаго творчества можемъ мы возстановить Россію.

Въ судорожномъ водоворотѣ революціоннаго процесса незамѣтно совершился великій сдвигъ: возстановился патриаршій престолъ Московскій и Всея Руси и возродилось соборное начало въ помѣстной Церкви російской. Этого событія нельзя укладывать единственно въ рамки публичнаго и каноническаго права, нельзя воспринимать его въ категоріяхъ соціально-политическихъ, какъ «освобожденіе Церкви отъ плѣненія государствомъ, отъ казенщины этой убійственной», какъ возстановленія «нормальныхъ отношеній между церковью и государствомъ». Глубиннымъ существомъ своимъ оно лежитъ въ плоскости совершенно иной. Грѣхъ петербургской Россіи не въ томъ заключался, что государственною волей помѣстная церковь была «превращена» въ «вѣдомство православнаго исповѣданія», включенное въ общую систему мірскаго административнаго механизма: Церковь Бога Жива, Столпъ и Утвержденіе Истины, лежитъ внѣ досягаемости не только для силъ человѣческихъ, но — по обѣтованію — и для вратъ адовыхъ. Грѣхъ петербургской Россіи — въ томъ искаженіи культурно-религіозной перспективы, которымъ поражено было общее умонастроеніе: въ утратѣ живого ощущенія святости и самодовлѣющей значимости Церкви, не имущей ни пятна, ни порока, — въ психологическомъ подчиненіи учительной и пастырской дѣятельности церковной — цѣлямъ здѣшнимъ, цѣлямъ устроенія земнаго благополучія и благоденствія. Строго говоря, ни о какомъ «порабощеніи» русской церкви въ петербургское время не можетъ быть и рѣчи. «Параличь» относится не къ внутрен-

ней дѣйствительности церковной жизни, а къ ея внѣшнимъ проявленіямъ... Можно ли говорить о «параличномъ» состояніи той помѣстной церкви, которая имѣла среди своихъ предстоятелей святителей Митрофана и Тихона, Воронежскихъ чудотворцевъ; церкви, въ которой просіялъ преподобный Серафимъ Саровскій, въ которой жила и учительствовала Оптиная пустынь съ ея духоносными старцами... Можно ли говорить объ упадкѣ церковнаго творчества, когда именно въ это время создались такіе перлы религіознаго лиризма, какъ проповѣди того же святителя Тихона и въ особенности его акаеиствъ Всемиловѣйшему Спасу... такая вдохновенная религіозная проза, какъ писанія преосв. Игнатія (Брянчанинова) и Теофана (Говорова), какъ проповѣди архіеп. Дмитрія (Муретова). Можно ли говорить о бездѣйственности Церкви, когда съ ея обителями, тысячами незримыхъ нитей связана исторія общественныхъ бореній: вѣдь Оптиною пустынею питались и всѣ старшіе славянофилы, и Гоголь, и Леонтьевъ, и Достоевскій, и Влад. Соловьевъ; вѣдь къ ея же стѣнамъ приходилъ и Левъ Толстой въ глухой тоскѣ предсмертнаго часа. Бездѣйственна ли церковь, изъ которой вышелъ великій просвѣтитель Японіи — архіеп. Николай... Нѣтъ, православная церковь російская и въ это внѣшне-безславное время была полна и обильна Божественною Благодатью, всегда немощная врачующей и оскудѣвающая восполняющей... И вмѣстѣ съ тѣмъ, безспорно — что-то роковое и тягостно-тревожное было въ томъ, что эти яркіе свѣтильники церкви учащей поспѣшно уходили въ затворъ, что сіяніе

Татьяна
Гармаш-Розфе

угодниковъ и подвижниковъ въ туманной атмосфере повседневности расплывалось въ какое-то неясное, хотя и свѣтлое, млечное облако. — Въ тиши монашескихъ келій переводились — а «около стѣнъ церковныхъ» изучались — творенія святоотеческія, а «официальная» богословская наука питалась не ими, а «научнымъ опытомъ» инославнаго запада, стараясь приспособить его достижения къ текущимъ нуждамъ нашей жизни. Догматическія и нравственныя системы переводились съ католическихъ и протестантскихъ образцовъ, причемъ часто проскальзывали мимо вниманія вопіющія отклоненія отъ церковнаго правосмысла (вродѣ «юридическаго» истолкованія Искушительной Жертвы Спасителя); по тѣмъ же образцамъ, а не по отеческимъ завѣтамъ толковалось священное писаніе. На мѣсто жизненнаго преданія церковнаго становилась школьная мудрость, отравленная ересью и расколомъ. Замирало учительное слово *ad extra*, ибо искало себѣ вдохновенія въ мертвенной риторикѣ Массильона и Боссюэта, Аридта и Берсье, даже Юнгъ-Штилинга и Сперджона. — Какъ и во всей цѣлостности народной жизни, такъ и въ области церковной сверху былъ наложенъ отяготительный пласть «европейской» техники, который, какъ инородное тѣло, мутилъ и коверкалъ органической ростъ.

И это тяжелое испытаніе кончилось: кончился «западническій» періодъ русской церковной исторіи. И на нашихъ глазахъ помѣстная русская церковь, не выступая ни на шагъ изъ, самимъ временемъ освященныхъ, формъ и одѣяній, стала дѣйственной, горячей, властной и учительной, — снова,

явѣ древле, сдѣлалась церковью торжествующей — въ силѣ Духа, съ какою бы давно не являющейся силой натиска ни бушевали вокругъ нея богореческія стихіи злого, сатанинскаго начала, какіе бы исключительные соблазны ни терзали теперь христіанскую совѣсть, сколько бы ни было отступничества и паденій... Такъ бывало и древле въ эпохи мученичества, догматическихъ искушеній и отпаденій... И надо закрыть свою душу сомнѣніямъ и страхамъ, ибо по неложному обѣтованію міръ сей осужденъ и князь вѣка сего изгнанъ вонъ. Надо съ вѣрою идти въ церковную ограду, подъ стѣнъ храма — не за тѣмъ, чтобы обрѣсти тамъ «тихую пристань» своему истерзанному духу, не за тѣмъ, чтобы въ «объятіяхъ отчихъ» забыться и «отдохнуть». Но за тѣмъ, чтобы соревнуя пути преп. Сергія и Святителя Филиппа, первосвятителя Московскаго и мученика, съ новою силою дерзновенія смиреннаго выходить въ бушующую жизнь и въ ней творить не дѣло свое, а дѣло Христово, созидать по кирпичикамъ въ душахъ человѣческихъ обѣтованную и взыскуемую — Господню Весь. Дѣло Христово есть «положительное всеединство», оно не исключаетъ ни одной стороны конкретной повседневной жизни. Только нужно, чтобы в с я к о е д ѣ л о творилось во имя Божье, опиралось не на песокъ, а на то «лежащее основаніе», больше котораго иного нѣтъ, — на Христа Іисуса, Сына Божія, Божию Премудрость, воплотившагося и вочеловѣчившагося.

Передъ нами стоитъ задача творческая и созидательная — задача строительства религиозной куль-

туры на твердой почвѣ церковности православной и въ неуклонномъ слѣдованіи преданнымъ завѣтамъ отеческимъ. Не о какой-нибудь «реставраціи» древности византійской или восточной идетъ рѣчь. Намъ надлежитъ теперь именно творчество, исканіе новыхъ формъ для того внутренняго содержания, которое ни на югу не мѣнялось въ продолженіи вѣковъ въ непосредственномъ опытѣ церковнаго общенія, несмотря на то, что «формы», дѣйствительно, мѣнялись. Для того, кто «живетъ въ церкви» и и з н у т р и созерцаетъ исторію ея догматическихъ движеній, исторію ея богослужебнаго и дисциплинарно-организаціоннаго дѣйствования, совершенно ясно, что отъ дней апостольскихъ и до нашихъ дней одна и та же «истина, и путь, и жизнь» раскрывались въ живомъ опытѣ вѣры; и онъ не усмотритъ въ смѣнѣ догматическихъ формулировокъ процесса «саморазвитія догмата», въ эволюціи обряда и каноническихъ нормъ — глубиннаго перерожденія самого существа христіанскаго общенія. Онъ не приметъ эмпирической измѣнчивости историческихъ проявленій церковной жизни за онтологическое превращеніе ея вѣчнаго бытія. И именно поэтому для него открыта свобода творчества, и творчество именно церковнаго: ибо не новое открытіе ему предстоитъ творить, не открытіе новыхъ истинъ, не созиданіе «новыхъ завѣтовъ» предстоитъ ему, а — исканіе новыхъ, полновзвучныхъ и дѣйственныхъ словъ для выраженія того же неизблѣмаго содержанія, которое древле столь мощно выявляли «старыя» слова. И, быть можетъ,

новыхъ словъ ему не потребуется: быть можетъ, въ его просвѣтленной и обновленной душѣ «старыя» слова зазвучатъ съ тою же призывностью и силой, съ какой звучали они нѣкогда въ сердцахъ званныхъ и избранныхъ. Важно одно — исходить изъ церковнаго опыта, въ немъ искать вдохновеннаго указанія для рѣшенія тѣхъ вопросовъ, которые передъ нашимъ сознаніемъ ставятъ текущая жизнь.

Для «внѣшнихъ» ожидаемая въ грядущемъ православная культура есть нѣчто загадочное и непонятное, къ чему довѣріе не возникаетъ въ ихъ душѣ. Въ нее глубоко запало давно ходячее представленіе о «греко-восточномъ христіанствѣ», какъ сонномъ, бездѣйственномъ, квіетично-апатичномъ мірѣ, оторванномъ и отъ жизни и отъ просвѣщенія. Для «внѣшнихъ» трудно сдѣлать убѣдительною всю несправедливость избитаго упрека въ созерцательной бездѣятельности, бросаемаго православію. Кто не чувствуетъ всей той напряженности не отвлеченнаго, а глубоко жизненнаго исканія, которое проявилось и раскрылось въ творствѣ отцовъ и учителей Восточной Церкви, которое запечатлѣно на страницахъ писаній святого Аѳанасія, великихъ каппадокійцевъ, Ефрема и Исаака, подвижниковъ сирійскихъ, подвижниковъ Фиваиды и Аѳона, преп. Феодора Студита и преп. Симеона Нового Богослова; кто не видитъ необычайной религиозной жажды, которая такъ явственно сказывалась въ самой широтѣ и страстности церковныхъ бореній въ Византіи и на Востокѣ; для кого ни о чемъ не говорятъ ни храмы Софіи Цареградской,

Кіевской и Новгородской, ни византійскія фрески, ни гимны Романа Сладкопѣвца, Андрея Критскаго и Іоанна Дамаскина — для того будутъ недоказательны и слабы всякіе доводы и аргументы. Ибо только сыны свѣта видятъ свѣтъ... Только для пребывающаго въ церкви доступенъ и понятенъ этотъ міръ, — только для него понятно, что въ духѣ и смыслѣ отеческихъ преданій возможно культурное созиданіе, что возможна новая философія, существенно религіозная, и однако не становящаяся ни мечтательною «теософіей», ни безсловесною «теургіей», — продолжающая не только линію «европейской» мудрости, но и линію преданій православной церкви.

Въ созданіи такой философіи, философіи, которая бы совмѣщала всю «образованность Западную» съ «духомъ православно-христіанскаго любомудрія», — видѣлъ въ свое время очередную задачу исторіи Иванъ Кирѣевскій. И теперь, спустя болѣе, чѣмъ полъ-вѣка, мы съ еще болшею силою ощущаемъ это. Нельзя отрицать страстности и напряженности исканій романо-германскаго Запада въ недавнія десятилѣтія и въ наши дни, нельзя замалчивать тамошнихъ попытокъ осознать тревожный опытъ современности, но нельзя закрывать глазъ и на то, что всѣ эти попытки очерчены магическимъ кругомъ, что дальше воскрешенія какой-либо изъ бывшихъ прежде системъ исканіе новаго міровоззрѣнія не идетъ. Творческій порывъ ограниченъ въ своемъ движеніи полярною противоположностью тѣхъ самыхъ началъ, съ которыми мы встрѣчались выше при конкретномъ анализѣ различныхъ русскихъ по-

пытокъ осознать нашу современность. Синтезъ этихъ полюсовъ для западно-европейскаго философскаго сознанія нашихъ дней возможенъ лишь по типу магнитной стрѣлки, — лишь въ нѣкоторой точкѣ безразличія, т. е. въ видѣ компромисса. Выйти изъ плоскостнаго магнитнаго поля философская мысль тамъ не можетъ. — Тѣ антитетическія идеи, съ которыми мы встрѣтились выше, типически выражаютъ основные типы внѣ-христіанскаго воспріятія міра: либо міръ аморфенъ и хаотиченъ, «самъ по себѣ» лишенъ всякаго сложенія и структуры, измѣняется только случайно, не подчиняясь никакому руководству; либо міръ есть система, опредѣленная однозначно, построена «единообразно», по строгому плану и въ самомъ теченіи и измѣчивости своей раскрываетъ лишь детали и слѣдствія этого изначальнаго, преднамѣченнаго плана. Иначе говоря, либо анархическая свобода, либо деспотическая необходимость; либо жизнь, либо смерть. И въ этой плоскости безконечность съ конечностью сочетаемы лишь въ призрачномъ символѣ, лишь въ качествѣ принципиально-нереализуемаго заданія; какъ реальность — явленіе нетлѣннаго и вѣчно-живущаго въ тлѣнномъ и смертномъ представляется въ этой плоскости зияющимъ противорѣчіемъ. Иными словами, въ этой плоскости нѣтъ мѣста для Сына Божія, явившагося во плоти, нѣтъ мѣста для истины Воскресенія, нѣтъ мѣста для упованія въ грядущее обновленіе плоти, — когда посѣянное въ тлѣніи возстанетъ въ нетлѣніи и тѣло

душевное станет тѣломъ духовнымъ. И этимъ ясно опредѣляется, что православное любомудріе стоитъ внѣ и «по ту сторону» этой традиціи мысли.

Опять-таки, для «внѣшнихъ» будетъ неясно, какое отношеніе имѣютъ къ русской современности эти, казалось бы, возвышенно-отвлеченные вопросы спекулирующаго духа. Для того, кто личнымъ опытомъ опозналъ невозможность одновременнаго пониманія и оцѣнки происходящаго ни на почвѣ радикальнаго индивидуализма, приписывающаго единоличной волѣ мощь и способность формулировать и опредѣлять дѣйствительность, ни на почвѣ объективнаго логизма, принимающаго законченную и законотѣрную опредѣленность всего существующаго и въ отношеніи строенія, и въ отношеніи развитія, — для того эта связь ясна. Осмыслить русскую революцію до конца можно только въ томъ случаѣ, если намъ удастся найти заветный синтезъ «свободы» и «необходимости»; — осмыслить революцію значитъ найти путь преодолѣть ее въ дѣйствиіи и жизни. И вотъ этотъ синтезъ оказывается возможнымъ только въ предѣлахъ православной мысли. Иными словами, онъ уже данъ въ живомъ православномъ религіозномъ опытѣ. Здѣсь одновременно переживается софійность міра, его онтологическая «космичность», сложность и организованность, и его пластичность, переменчивость, дѣлающая его доступнымъ для индивидуальной работы въ немъ. «Софійность» міра не равнозначна его логической опредѣленности, ибо Софія не есть мудрость человѣческая, а есть Божественная Премудрость, открывающаяся

не въ непрерывности діалектическаго развитія «чистой мысли», а въ «наглядномъ» и конкретномъ мистическомъ созерцаніи. И далѣе, здѣсь совмѣщается признаніе того, что «все» отъ вѣка предвѣстно Богу и Имъ предузнано, и того, что вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ подлинно творитъ судьбу свою: liberum arbitrium и praedestinatio aeterna совмѣщаются здѣсь въ живой интуиціи Промысла Божія, гдѣ равно на лицо и элементы «рока», и элементы «случая». Осознать и выразить въ конструкціяхъ мысли эти живыя прозрѣнія и есть задача новой православной философіи. И вмѣстѣ съ тѣмъ, тѣмъ самымъ рѣшается для насъ и тревожная загадка русской революціи. — Да, русская революція не есть дѣло рукъ человѣческихъ, не есть плодъ отклонившагося отъ торнаго пути здраваго смысла индивидуальной воли, не есть «экспериментъ», — а есть, дѣйствительно, «судь», но только не «судь исторіи», а Судь Божій. Русская гибель должна восприниматься, какъ неотвратимое послѣдствіе опредѣленныхъ историческихъ судебъ Россіи и русскаго народа; она выросла неизбежно и необходимо изъ того расщепленія, которое было внесено въ ея существо въ результатѣ оболъщенія мірскою славой и стремленія достигнуть этой славы своими человѣческими силами. И тѣмъ не менѣе, эта неотвратимость нисколько не снимаетъ ответственности съ каждаго изъ тѣхъ, кто своею волею содѣйствовалъ свершившемуся развалу. Ибо сказано: «Сынъ Человѣскій идетъ, якоже есть писано о Немъ; обаче горе человѣку тому, имъ-же Сынъ Человѣскій предается». (Мѡ. XXVI, 24; Мѡ. XVIII, 7).

Ибо хотя «все въ рудѣ Божіей», человѣкъ поставленъ на землю затѣмъ, чтобы въ непре- станномъ творческомъ напряженіи свободно идти къ открытымъ и доступнымъ для его сознанія благимъ и благословеннымъ цѣлямъ. Здѣсь заложенъ глубокой трагизмъ; трагизмъ свободы, когда крушеніе совершается не въ итогѣ столкновенія съ абстрактнымъ фатумомъ, а въ итогѣ какой-то «интеллигибельной ошибки» свободного волевого выбора. Трагедія свободы — это и есть основная проблема новой философіи, съ такою мощью и проникновенностью пережитая и поставленная Достоевскимъ; и вмѣстѣ съ тѣмъ, она есть конкретная историческая трагедія, въ которую вовлечены мы всѣ и изъ которой мы должны выйти порывомъ нашего творчества. Въ этой сложности нашей задачи и заключается та значительность русскихъ событій, которая заставляетъ называть ихъ не «бунтомъ», а «катастрофою», и которая настраиваетъ насъ апокалиптически. Именно поэтому не на пути внѣшней борьбы, а на пути внутренняго, духовнаго преодоленія открывается выходъ изъ развалинъ старой Россіи.

VII

Революція разверзла передъ нами новые пути... Мы не знаемъ, долго ли придется по нимъ идти. Но мы знаемъ, что эти пути — подлинно новые, никѣмъ еще нехоженые, и ведутъ они не къ старому, не обратно, а въ невѣдомую даль... Да, именно

пути. Въ историческомъ свершеніи революціи не накопилось для насъ никакихъ новыхъ сокровищъ; но мы ощущаемъ, что и подбирать по крохамъ разметанныя и развѣянные ею старыя — работа праздная и тщетная. Мы должны сами создать и собрать новыя цѣнности, новыя сокровища культуры. Только тогда онѣ будутъ живы. Незачѣмъ угадывать конечный этапъ долгаго восхожденія, незачѣмъ гадательно строить сложную и длинную программу послѣдовательныхъ дѣйствій; намъ достаточно знать, чего мы хотимъ и ищемъ, и задача наша — обрѣсти и возгрѣвать въ себѣ духъ творчества, испытующій и тревожный.

Въ области культуры, въ области духа лежатъ корни и истоки русской революціи, и изъ этой области только и можетъ придти ея подлинное преодоленіе, только отсюда и можетъ воспрянуть та новая жизнь, которой мы такъ напряженно ждемъ и жаждемъ. Если культурно-творческія потенціи русскаго духа уже исчерпаны, если невозможно культурное возрожденіе Россіи, то значить Россія уже погибла и вычеркнута навсегда изъ книги животной.

Творчество всегда тайна, всегда — неизслѣдимо до конца. Въ немъ всегда есть элементъ риска, держанія, чаянія. И въ культурное возрожденіе Россіи можно только вѣрить. Но для этой вѣры есть свои основанія: мы вѣримъ, что Россія воскреснетъ, ибо ощущаемъ безконечную святость той цѣнности, съ которой чудесною связью сочеталась русская народная душа, — мы вѣримъ въ творческую

силу Православной Церкви, въ творческую силу самой вѣры православной, завѣщанной намъ предками и отцами, той самой вѣры, о которой исповѣдуемъ, что она «вселенную утверди» (Чинъ въ недѣлю Православія). «Сія есть побѣда, побѣдившая мѣръ!» Изъ православія выросла та русская культура далекаго прошлаго, еще живущая въ подсознательныхъ глубинахъ народной души, всю обаятельность которой мы чувствуемъ и теперь, — несмотря на всю условность и устарѣлость ея формъ. Мы ощущаемъ, что правый путь къ Великой Россіи — черезъ Церковь. И смиряясь предъ неисповѣдимыми тайнами Божественнаго Промысла и одновременно вѣруя во всѣ обѣтованія, данныя свыше не съ квіетическимъ «самоутѣшеніемъ», а съ творческимъ порывомъ, идемъ мы подъ сѣнь Православнаго Купола, чтобы въ жгучей молитвѣ просить благословенія на нашъ отвѣтственный, томительный и страшный трудъ. Мы ощущаемъ, какъ фактъ, что православіе живетъ въ русской дѣйствительности, — это и есть единственная русская жизнь теперь; Церковь вновь становится освящающимъ средоточіемъ русскаго духа.

Жить и дѣйствовать въ Церкви, творить свое дѣло въ духѣ Христовомъ, исходя изъ религіознаго воспріятія жизни, — вотъ единственный путь, которымъ возможно выйти изъ историческихъ тупиковъ, образовавшихся среди развалинъ рухнувшей жизни. Великая Россія возстановится лишь послѣ того, какъ начнетъ сози-

даться русская православная культура, — и только православное дѣло, творчество въ духѣ и подъ сѣнью Церкви есть въ наши дни праведное русское дѣло.

Софія, декабрь 1921 г. Прага, январь 1922 г.

Георгій Флоровскій